





Дмитрий Бак:
«Мне было бы ужасно
думать о себе
как о белковом теле»

Парсуна — так называется портрет в иконописном стиле, а также авторская программа Владимира Легойды на телеканале «Спас», в которой он говорит с человеком о самом главном. В этом номере «Фомы» — фрагменты «парсуны» Дмитрия Бака, филолога, литературного критика, директора Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ:

Первый вопрос ведущего «Парсуны»:

Легойда: Могу ли я вас попросить самого представиться. Вот что бы вы сейчас хотели сообщить о себе в первую очередь?

Бак: Я — читатель текстов. Читатель, восприниматель, обдумыватель смыслов, которые за ними стоят.



Чтение — это, наряду с верой, последний оселок нашей подлинности, который никак нельзя ускорить, «механизировать».

Вообще я — ретроград.

Я даже оперу «Евгений Онегин», то есть либретто, считаю схематичной модернизацией. Текст не просто «хуже» пушкинского, в нем все извращено. У меня как-то вышел спор со знаменитой актрисой Фанни Ардан. Она говорит: «Ну, Онегин же упустил любовь, свой шанс». А я ей: «Почему вы так решили? А как можно было не упустить? Представляете, Татьяна говорит: “Я вас люблю, к чему лукавить, и жду вас вечером в саду”. Боже, какая пошлость, мелкий мезальянс! Любовь никуда не делась, она “никогда не перестает”, как сказано у апостола Павла. Они просто прошли мимо друг друга, не встретились вовремя». И тут госпожа Ардан в ответ: «Как же, ведь поет: “Я упустил любовь”», или что-то подобное. И тут до меня дошло, что в либретто действительно так. И это уже не Пушкин. То есть мне кажется, что в аутентичных текстах всегда больше смысла, чем в попытках их интерпретировать, даже самых смелых.

Нам же вечно некогда, хорошо бы просто вместо долгого чтения проглотить таблетку и — ах, «Анна Каренина» прекрасна! А то нужно потратить неделю, а где ее взять? Или — рассосал леденец, капнул себе что-то в глаз, лизнул — и понял Достоевского... Нет, для этого нужна работа, почти уже невозможная для человека эпохи, когда гуглы «всюду довозут».

Среди всех многочисленных попыток классику осовременить есть и такие, которые рождают новые вопросы. Правда, не всегда это имеет отношение к первоисточнику. Но имеет отношение к современному человеку.

Я из семьи медиков, и заповедь «не навреди» мне очень понятна.

Конечно, Толстому часто говорили ревнители исторической достоверности, что на Бородинском поле и полки стояли не так, и Кутузов не спал во время битвы... Но понимаете, «не навреди» в моем понимании не означает необхо-



димости оставаться на уровне бытового восприятия. Ведь, скажем, «непосредственный» театральный зритель — худший зритель! Это тот, кто кричит Красной Шапочке: «Эй, обернись, там волк!» И что тут делать актрисе, которая играет Красную Шапочку? Не может же она вслед этой очевидной подсказке «увидеть» Волка в момент, когда она его видеть не должна! Вот и Кутузов пусть ostается «толстовским», а не «достоверным», обыденным и одномерным.

Мир сейчас живет по апофатическим законам, то есть все, что имеет прямую логику, никому не интересно, тут нет «информационного повода». Интересно только то, что вопреки. Художник не может все это не учитывать, не понимать. Но он не должен задумываться о том, насколько это кому-нибудь не понравится. Иначе кому-нибудь придет в голову переписать «Героя нашего времени» — там ведь в главных героях гордец, безнравственный эгоист, приносящий людям зло. Давайте в центр поставим Максима Максимовича, человека простого и доброго! И что мы получим? Вместо гениальной книги — пустую безделку...

Если математик говорит: «дважды два — четыре», он ничего другого в виду не имеет.

Если священник говорит: вот это добро, а вот это зло, то именно так и есть. И нет ни одного вменяемого человека, кроме провокатора, который скажет: нет, дважды два — пять. Или — что в Нагорной проповеди есть какой-то еще смысл кроме того, который в ней прямо и непосредственно присутствует. Но литература устроена совсем иначе.

Буквальная реакция здесь невозможна. Волшебство искусства в том, что оно учит нас сложным движениям души, не математическим. И в конечном счете всегда порождает любовь. Даже будучи для некомпетентного человека провоцирующим.

Но самое страшное — потакать ситуации, в которой кто-то может усмотреть оскорбление чьих-то чувств. Это нужно стараться сглаживать, а не заострять. Приходится быть сдержанным и осмотрительным — даже в самом главном. В нынешней накаленной атмосфере всеобщей агрессии я с ужасом думаю: как бы не пришла в чью-нибудь большую голову мысль о том, что, например, иудеи «оскорблены» христианством или христиане — исламом. И ведь доводы немедленно отыщутся, подключатся

соцсети, и — вот вам новое безумное #MeToo...

Конечно, не любая проповедь, не любая мысль требует терпимости и легкости. Но в искусстве по природе его заложена гетерогенность, которая требует усложненной реакции... Конечно, речь здесь не может идти о прямой проповеди розни, неравенства, насилия, тут не может быть никаких уступок. Но надо отделять дешевое стремление добиваться от искусства прямого воздействия путем какой-то антипроповеди, тем более проповеди насилия, от тех случаев, когда возникает непонимание.

Тот, кто находится вне какого-либо абсолюта, часто не может допустить, что кто-то способен в этот абсолют верить.

В советское время был анекдот: если бы Достоевскому властями был поставлен памятник, то надо было бы написать: «Федору Михайловичу от благодарных бесов». Враг рода человеческого в литературе часто имеет не только отрицательную коннотацию. Демон у Лермонтова, Змей (Serpent) у Мильтона, Мефистофель, Воланд — все они некоторым образом «необходимы», поскольку «от противного» помогают полнее понять благое провидение. А у Достоевского (и в прототипическом по отношению к роману стихотворении Пушкина) бесы — существа, имя которым легион. Они лишены собственной воли, в отличие от перечисленных выше «титულных» литературных героев не провоцируют отречься от добра и выбрать зло. Бесовство действует иначе — поращает, выворачивает наизнанку самое ценное и благое, что может быть в человеке. Таков Великий инквизитор, пригрезившийся Ивану Карамазову, который «лучше Христа» знает, как донести до людей Его учение, готов якобы ради добра, ради этого самого учения на прямое насилие и на пытки.

Любая идея, доведенная до крайности (idée fixe), может превратиться в свою противоположность. Гипостазирующее, преувеличивающее ее значительность отношение к любой системе взглядов, в том числе и к благому вероучению, искажает добро, выворачивает его наизнанку. Таким насилием, бесовским вытьем и камланием может быть все что угодно — и революция, и перевернутая в инквизиторской логике квазивера.

То есть проблема не столько в самой идее, сколько в отношении к ней. Это не значит, что нет дурных идей. Это не значит, что нет соблазнов. Это

не значит, что нет зла. Но главное все-таки, в соответствии с логикой романа Достоевского, — как именно человек устанавливает отношения с той или иной системой взглядов, пусть даже с изначально благой и светлой.

В последнее время я с изумлением вижу, как в интеллектуальных кругах нарастает диктат этакого гиперпозитивизма, псевдонаучного скепсиса по отношению к любым метафизическим смыслам. Это напоминает времена, когда религия объявлялась «опиумом для народа». Транслируется именно советская логика: любая попытка заговорить о «сверхчувственном» объявляется мракобесием, как будто бы за нами до сих пор надзирает коллективный Емельян Ярославский.

Легойда: Как вы относитесь к точке зрения, что критиками становятся те, у кого не получилось стать писателями?

Бак: Вы знаете, терпимо. Тем более что критики больше нет.

Легойда: То есть вашей профессии не существует?

Бак: Да, больше нет такой профессии, но я вовремя сбежал в музейщики.

Я своим помощникам говорю:

«Текст есть в “облаке”? Пусть так, но уж вы мне, пожалуйста, вордовский файл скачайте». То есть пускай будет у меня на диске, так привычней. Мне важно, чтобы я знал, в какой это хранится папке. А если останется где-то там, на облачном сервере, то как бы не станет моим. Ну, предупреждал же, что я ретроград! Я даже стол у себя в домашнем кабинете каждый месяц-два в разные стороны поворачиваю, чтобы разные книги попадали в поле зрения. Все стены, понятное дело, в книжных полках, а книги любят, когда на них смотришь, даже если времени нет взять в руки. Посмотрел налево, а там знакомый зелененький том Евгения Трубецкого, рядом Флоровский, В. Лосский, Карташев. Повернулся направо — там «Литературные памятники»: Лафайет, Ларошфуко, Лав Пикок, еще правее — история, потом русская классика. Смотришь-смотришь да вдруг

в свободную минуту возьмешь в руки и зачитаешься. А вот, допустим, я знаю, что в Библиотеке Конгресса есть — ну, почти все книжки в природе — и что мне с того? Где они для меня? Тем более электронные версии, все они где-то «там», их бесконечно много и нет вообще. Выберу только то, что точно будет необходимо для работы. Я даже думаю, что несовершенные «карточные» каталоги в милых сердцу удлиненных полках-ящиках были в чем-то совершеннее электронного поиска. Переворачиваешь аккуратненько карточки — десятую, сотую, тысячную, и столько неожиданного попадает — того же автора, на ту же литературу.

На что направлен прогресс? Разве на то, чтобы людям легче жилось?

Я полгода назад открыл, что айфон может искать фотографии по словам. Там можно набрать слово «слюнвячик», и он тебе выдаст всех деток, которых ты сфотографировал за пять лет. Или — «котенок»: отыщутся все кошки. Очень удобно. Но была ли во мне эта потребность удобного поиска по словам изначально, или она сформирована технологически? Конечно, она целенаправленно создана, причем так, чтобы я без нее больше не смог обойтись, не смог оставаться собою прежним. Как мы жили раньше — до появления девайсов и гаджетов? Да ведь жили как-то, и неплохо.

Я помню шок от знакомства с электронной почтой. Раньше, чтобы написать письмо, надо было купить бумагу, написать, заклеить конверт, потом пойти к почтовому ящику, опустить в него письмо и пару недель ждать ответа. А сейчас очень удобно — раз, два: привет, напиши что-то в мессенджере. А если таких сообщений 300 в сутки? Это облегчает жизнь или порабощает?

Литературный музей заставляет думать.

У нас была выставка «Рильке и Россия». Великий немецкий поэт Райнер Мария Рильке дважды был в России, переводил Лермонтова и Чехова, писал по-русски стихи. И у нас выставлялись его подлинники, переписка с Цветаевой. Это был совместный проект с двумя швейцарскими музеями и одним немецким, а вещи там были из многих музеев, архивов и частных собраний. Книгу ты можешь взять в библиотеке, она никуда не денется. А выставка — это одноразовое



Королевский музей в Онтарио, Фото flickr.com/Daniel MacDonald/

Легойда: Сегодня часто спорят, какие эксперименты над классикой допустимы в искусстве. Здесь есть табу?

Бак: Знаете, табу — страшная вещь. Чем жестче табу, тем больше соблазн его нарушить.

Легойда: Но строгость канонов тоже рождает шедевры.

Бак: Это верно. Но только в пору, когда смыслы становятся ощутимы непосредственно, так сказать, режут ухо и бросаются в глаза.

чудо, спектакль. Вот в витринке та самая книга, которую Рильке прислал Льву Толстому, — дочитанная до 112 страницы, дальше, видимо, Толстой не продвинулся... Но выставка закончилась, и все сокровища опять разлетелись по двенадцати хранилищам, и ты этого больше никогда не увидишь. Ради этого стоит прийти в музей, застать чудо в действии...

Русская литературная критика — это обычно текст глубокого дыхания.

Потому что он призван оценить другой литературный текст с точки зрения его

важности, продуктивности, возможности ответа на какие-то общественные ожидания. Ныне критика в прежнем смысле не существует. Очень простой отличительный признак: в «Нью-Йоркере» нет отрицательных рецензий. Вот тот рубеж, за которым критика исчезает. Остается навигация.

Что делает критик? Говорит, что столбовая дорога литературы такая-то, нужны такие-то темы, нужны такие-то жанры, Достоевский потому-то актуален, Гоголь переворачивает представления о... А ревьюер и бренд-менеджер говорят: это хорошо, написано мастеровито, актуально — купи. А что делает навигатор? Он говорит: нет дурных книг и нет хороших, тебя я соединю с этой книгой, а тебя — с этой. Это как в случае гаджета с поисками снимков по слову «котенок» — абсолютно та же ситуация: ты еще не знаешь, что такие-то книги тебе подходят, а я за тебя знаю и сейчас расскажу, желательно не задаром. Сформирую твою потребность извне, а она покажется тебе твоей собственной...

В XIX веке литература — это гениальные авторы,

которые могут стать такими только потому, что есть система выстраивания их отношений с государством и есть необходимые технологии. Толстый жур-



Бак: Сейчас модно говорить: я — агностик. Звучит интеллигентно. На самом деле у агностика ужасная, на мой взгляд, система.

Легойда: Почему ужасная?

Бак: Для него жизнь — способ существования белковых тел, и только: попробуйте отнестись к себе как к белковому телу...

нал — это тот же «Фейсбук», в XIX веке это очень крупный бизнес, мы видим это по Каткову, по Некрасову. А еще это место, где собираются критики, прозаики, переводчики, поэты одних и тех же направлений. Тургенев переходит из «Современника» в «Русский вестник» — какое событие! А сейчас авторы, совершенно противоположные по убеждениям, издаются в одной редакции — и это никого не удивляет.

Нынешняя эпоха не журнальная — издательская. Издатель действует как футбольный тренер: он выпускает в свет книги людей разных убеждений. У него сборная: опорный защитник, вингер, форвард: каждый игрок работает на свою фокус-группу читателей. Среди любителей чтения есть путешественники, есть интеллектуалы, религиозные люди, молодые матери, подростки, люди «третьего возраста». Неужели кому-то из них можно

отдать предпочтение? Это удел мелких, «нишевых» издательств, а крупные пытаются обслужить всех. Все идейные, эстетические различия — за кадром, больше нет полемики, нет идеологических споров. То есть литература — совсем не то, чем была сто лет назад. А толстый журнал сегодня — четкий неформат. Его нельзя спрятать в карман. Он очень дорого стоит. Там можно прочесть не весь роман, а треть. А рядом почему-то стихи. Вот все и сменилось. И не в результате победы какого-то мировоззрения, а в результате того, что в центре теперь не журнал, а книга, которая тоже стремительно уступает место окнам в Интернете.

Как правило, школьника можно научить любить литературу.

У меня есть несколько приемов. Ну, например, я прошу перевести на современный, условный, понятный русский язык какие-нибудь известные строки Пушкина, вроде: «Безумных лет угасшее веселье мне тяжело, как смутное похмелье. Но, как вино, — печаль минувших дней в моей душе чем старе, тем сильней». С каждым годом все больше минут проходит, пока включатся давно не тренированные рецепторы медленного чтения. И примерно через 18–20 минут кто-нибудь в аудитории первым скажет:



Фото: fori.ru

Легойда: Ох, цивилизация Гуттенберга, судя по всему, умирает. А что на смену? Гаджет?

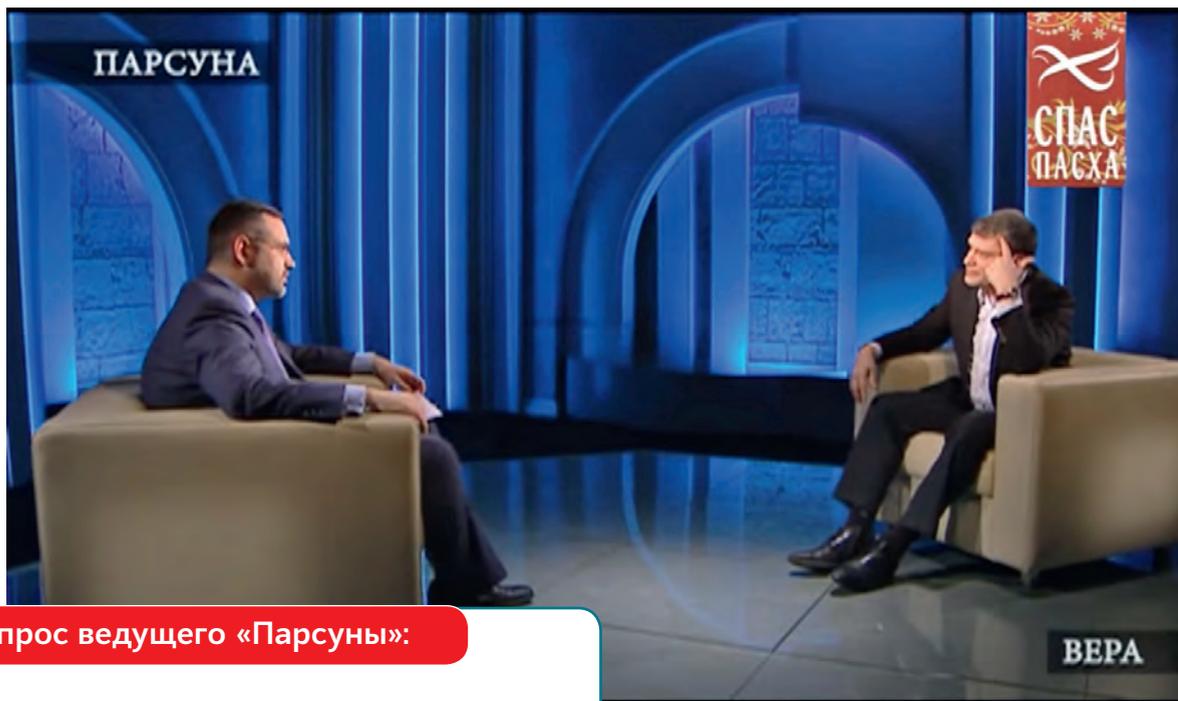
Бак: Сократ тоже сетовал, что его учительные речи стали записывать, превращать в мертвые тексты, а вот раньше рукописи помочь не могли: чтобы усвоить учение, надо было долго вышагивать рядом с учителем и впитывать знания из уст в уста. Но и печатная книга со временем обрела душу.

Легойда: У гаджета появится душа?

Бак: Это трудно точно предсказать. Я думаю, что культ печатного слова вернется, но уже на каком-то другом уровне. Как почитание виниловых пластинок — увлечение для немногих.

а! тут вот про что! «Не доверяй тому, что кажется тебе абсолютным в данный момент. То, что казалось весельем, закончится похмельем. А бывшее прежде печалью, загустеет и станет вином. Значит, в любой момент надо понимать, что есть различия между твоим бытовым восприятием (сладкое приятно, горькое — нет) и подлинным пониманием смысла происходящего». И тут читатель Пушкина ахнет, впервые обольется слезами не по причине утраты в речке мячика — а «над вымыслом».

Очень многому можно научить. Нужно смотреть вглубь слова. Нужно понимать, что в слове спрассе внутренняя форма не та, что в слове «пространство». Пространство — это то, что простирается. Судьба — это то, что суждено, от слова «судить». А наука созвучна поруке (от «научати» или «поручать»). То есть самое главное: как говорил Гоголь, «к слову надобно относиться серьезно». И есть только две сферы, где к нему самое серьезное отношение: это искусство и, конечно, религия. **ф.**



ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ:

Последний вопрос ведущего «Парсуны»:

Легойда: Где вы поставите точку в предложении «Забывать невозможно сохранить», если речь идет о бумажной книге?

Бак: «Забывать невозможно. Сохранить».

Смотрите полный выпуск «Парсуны» с участием Дмитрия Бака по этой ссылке:

